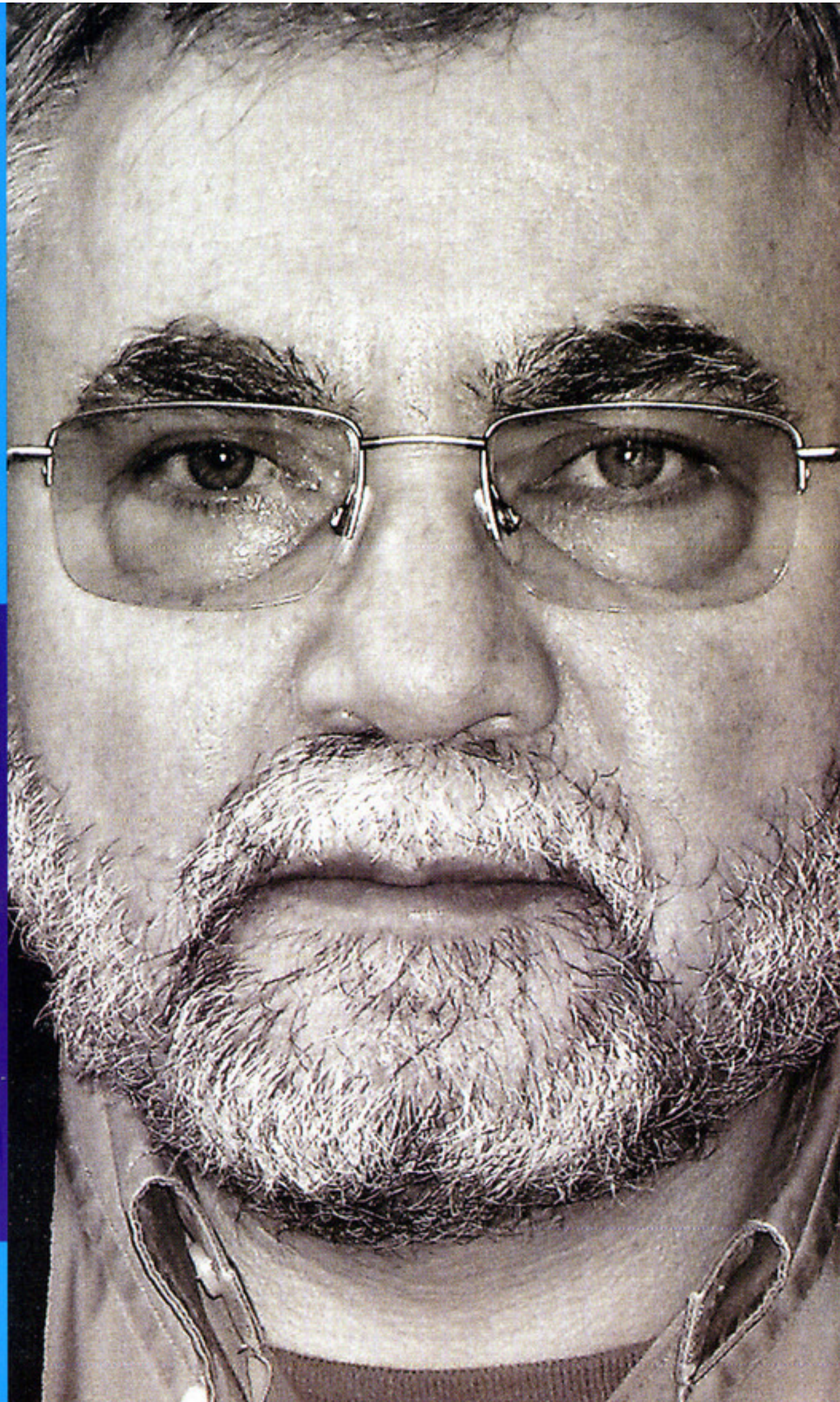


АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ • АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК



Алексей Цветков

Атлантический дневник (сборник)

«Новое издательство»

Цветков А. В.

Атлантический дневник (сборник) / А. В. Цветков — «Новое издательство»,

«Атлантический дневник» – сборник эссе известного поэта Алексея Цветкова, написанных для одноименного цикла передач на радио «Свобода» в 1999–2003 годах и представляющих пеструю панораму интеллектуальной жизни США и Европы рубежа веков.

Содержание

ОТ АВТОРА	5
ДОМА	6
ИСТОРИЯ И ПРАВДА	11
ПОСЛЕ КАМЮ	16
ДАР ВТОРОЙ РЕЧИ	21
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА	26
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Алексей Петрович Цветков

Атлантический дневник

ОТ АВТОРА

Публикуемые эссе были первоначально написаны для цикла программ радио «Свобода» и прозвучали в эфире с 1999 по 2003 год. Следы «эфирного» происхождения в некоторых из них остались. Прежде всего, это видно из композиции большинства эссе: программа была посвящена интеллектуальной жизни США, и поэтому темы я брал из статей американских журналов, в основном не рассчитанных на массовый рынок.

Ввиду того, что строгое выделение всех цитат и идей в эфире не слишком удобно, я старался писать так, чтобы читатель понимал, какая мысль принадлежит мне, а какая – исходному автору. Надеюсь, что замешательства в этом плане не будет.

И еще одна деталь. Поскольку все это должно было восприниматься «с голоса» и достаточно широкой аудиторией, я старался писать доходчивее, чем мне это обычно свойственно. Похоже, что это не принесло особого вреда.

ДОМА

«Откуда вы?»

На этот дежурный американский вопрос человеку моей биографии ответить нелегко. Вернее, нелегко ответить коротко, потому что вопрос не подразумевает полчасовой исповеди. Надо назвать штат или страну. И я отвечаю: «Прага, Чешская Республика». Я жил в пяти странах, хотя родился только в одной из них, а в Америке – в пяти штатах. Спрашивают на каждом шагу: продавцы в магазинах, едоки в придорожных ресторанах, администраторы в гостиницах. Иногда я не удерживаюсь и пускаюсь в объяснения: дескать, вовсе я не чех. Какой из меня чех – у меня на жилете шеврон с норвежским флагом. Слушают с участливым любопытством. Вышел, как заведено в Америке, на двор покурить – прохожий спрашивает: «Ты, парень, из Норвегии?»

Я вернулся домой, но никто не принимает меня за своего.

А кто, собственно говоря, спрашивает? Продавщица в универмаге «Нордстром» тут же сообщила, что сама она из Египта, а в ответ на мой уточняющий вопрос, арабка или коптка, недоуменно пожала плечами. Дескать, конечно арабка, а о коптах и слыхом не слыхала. Вот и вся слава Бутроса Бутроса Гали и сотен тысяч его соплеменников.

В другом универмаге, «Дейтон», покупали женскую сумочку. Продавщица рекомендовала приобрести к ней специальный увлажнитель, протирать швы, но наша спутница в закадровом русском разговоре заявила, что это уже лишнее. Разговор, к счастью, сложился вполне парламентский, потому что продавщица вдруг сообразила, что она – украинка, и сделка к общему удовольствию завершилась уже на третьем языке.

В магазине «Крэбтри энд Эвелин» работает молодая девушка, год назад приехавшая из Белграда. Русских она опознала тотчас: сказала, что ничего не понятно, но очень похоже. Это, между прочим, реальный лингвистический курьез: сербско-хорватский ближе к русскому по звучанию, чем куда более родственный украинский. Мы сошлись на том, что в Сент-Поле лучше, чем в Белграде.

В этом году актерские профсоюзы и правозащитные организации направили петиции протеста Голливуду и телекомпаниям в связи с недостатком этнического разнообразия на экранах. Это – реальная проблема, и не только правовая. Арийские экстерьеры Голливуда внушают чужестранцам совершенно ложные идеи. Сколько раз приходилось слышать: такой-то похож на американца или не похож. В действительности на американца похож любой житель Земли, а если верить сообщениям бульварных газет о внедрении пришельцев, то и не только Земли. В худшем случае такого жителя надо просто подкормить и приодеть.

Выходим на фермерский рынок Сент-Пола. Горы овощей и зелени – половины названий лет двадцать назад в Америке не знали, некоторых я не знаю до сих пор. Лица торгующих фермеров побуждают к догадкам: корейцы, что ли? Но корейских фермеров в США нет. Эти люди – хмонги, или, как они раньше именовались, мяо, представители обширной южноазиатской народности. В годы гражданской войны в Лаосе они противились коммунистам и помогали американцам. Коммунисты победили, и десятки тысяч были вынуждены бежать: большинство в Таиланд, многих приютила Америка. На родине хмонги жили примитивными сельскохозяйственными коммунами, поклонялись духам, и вписаться в XX век им нелегко. Но теперь они обжились, а подросшую молодежь переплавляют школы и университеты. Эти американцы никогда не будут похожи на суперменов с рекламы «Мальборо». Впрочем, на них не похожи и настоящие ковбои – только третьеразрядные актеры Голливуда, кормящиеся от рекламных агентств.

По дороге в Нортфилд видим десятки машин, запаркованных вдоль шоссе: аукцион. Не «Сотбис» или «Кристис» с Ван Гогам и яйцами Фаберже, а распродажа имущества фермы.

Во дворе выстроена в ряд сельскохозяйственная техника: трактора, комбайн, платформа-прицеп и еще кое-что железное неизвестного мне назначения. Участники торгов стоят полукругом: это не пригородные хмонги, пестующие овощи, а возделыватели кукурузы и сои, крепкие мужики с обветренными профилями, все в джинсах и бейсбольных кепках с твердыми околышами, каких нигде в другом месте не носят. Американские фермеры Среднего Запада как раз ближе всего к голливудскому стереотипу, только без его придурочной холености. Эта человеческая порода мне больше нигде не встречалась.

Поодаль, у крыльца под вязами, сидят на вынесенных стульях старик, женщина, ребенок, неотрывно следят за спектаклем. Слово «спектакль» здесь не покажется чрезмерным: торги ведет профессионал, взятый напрокат сотрудник аукционной фирмы. Он сидит в специальной будке на колесах, которую поочередно передвигают к каждому из выставленных экспонатов, и поет. Тот, кто хоть однажды слышал песню американского аукционера, никогда ее не забудет и ни с чем не спутает. Эта песня – плод многолетней практики, большое искусство узкого назначения. Мелодию передать абсолютно не берусь, это скорее речитатив с зачином стаккато и восходящими волнами, а слова примерно такие: «Трактор „Джон Дир“, всего три года, в прекрасном состоянии, двадцать тысяч, кто даст больше, хочу услышать „двадцать одна“...», и так далее. Мастера высокого класса достигают такой скорости распева, что непосвященному не разобрать ни слова.

Хозяин фермы тем временем взбирается в кабину машины и заводит ее, демонстрируя упомянутое прекрасное состояние. Время от времени кто-нибудь из собравшихся вскрикивает или выбрасывает вперед руку, и тогда помощник церемонимейстера тычет в него пальцем, а сам маэстро запекает новую цифру. Нам, ротозеям, приходится стоять окаменев, потому что одно неосторожное движение может превратить человека в обладателя трактора «Джон Дир» в прекрасном состоянии. Правда, тут же разберутся, потому что у зарегистрированных участников есть номера, но рискуешь вызвать справедливое раздражение.

Этих людей почему-то не хочется раздражать: их жизнь кажется куда серьезнее твоей собственной.

Аукцион на ферме – знак беды. Урожай в этом году очень скуден, а в прошлом, наоборот, был высоким, и закрома покупателей до сих пор полны. В результате из двух зол разразились оба: и цены низкие, и продавать нечего. Мелкое фермерство, несмотря на федеральные дотации, не очень рентабельно, и два плохих года кряду могут уничтожить труд поколений. Выручка за технику отойдет банку, и ему же, скорее всего, достанется заплаченное за землю и дом. Потерять ферму – это не просто потерять работу, все равно что академику остаться без школьного аттестата.

Аукцион – дело долгое, и поэтому подогнали вагончик с хотдогами и кофе подкреплять участников. Фермерские жены у стойки обсуждают соевые фьючерсы. Я чувствую себя монтером, по ошибке угодившим на конгресс ядерных физиков.

Город Нортфилд в штате Миннесота – по российским понятиям провинция, но российские понятия здесь плохо применимы. В городе два колледжа, Карлтон и Сент-Олаф, оба из числа лучших в стране. Девушка из Нью-Йорка почтет за счастье учиться в Карлтоне, тогда как московский юноша вряд ли обрадуется перспективе переезда в Пензу.

Еще одно отличие: в России много любителей Родины вообще, нераздельно с Чечней и Курильскими островами, но я редко встречал людей, которые по-настоящему любили бы родное место. В Америке все наоборот: патриотизм всегда локальный. Каждый заштатный городок имеет собственных краеведов, проводит фестивали и парады. Главная гордость Нортфилда – неудачное ограбление Первого национального банка легендарным бандитом Джесси Джеймсом. Это произошло 7 сентября 1876 года, и уже много лет жители отмечают годовщину события театрализованным действием.

Мы стоим в толпе напротив места, объявленного подлежащим ограблению банком. Сцена события расчищена, как и подъездной путь к нему. Сами бандиты, Джесси Джеймс с братом Фрэнком и братья Янгер, на лошадях, в шляпах и белых пыльниках, переминаются за углом, ожидая сигнала к выезду. Тем временем ведущий посвящает зрителей в курс дела, именуя всех действующих лиц, которые уже прохаживаются по улице. Джесси с братом были ветеранами Гражданской войны, сражались на стороне южан, а после победы Севера принялись грабить поезда и банки. Приключение в Нортфилде чуть было не положило конец их огнестрельным трудам.

Речистые южане спешили возле банка, привязали коней и завели с горожанами отвлекающий разговор о покупке скота. Помимо акцента их выдал запах алкоголя: видимо, решили брать банк похмелившись, а местные лютеране к спиртному не притрагивались. В завязавшейся перестрелке – вот она уже происходит на наших глазах, холостыми конечно, – погибли все, кроме братьев Джеймс. Джесси был впоследствии убит членом своей же банды, польстившимся на объявленное вознаграждение. Фрэнк сдался властям, его судили в Миссури за убийство, в Алабаме за ограбление и еще раз за вооруженное ограбление в Миссури. Все три раза он был оправдан и умер в 1915 году у себя дома, в той же комнате, в которой родился.

Джесси и Фрэнк были не просто бандиты, а преступники с идеологией: мстили за поражение и вероломство северян, тяжело ранивших Джесси уже после того, как его отряд капитулировал. Джесси Джеймс – американский эквивалент Стеньки Разина.

Со слов все того же нортфилдского публичного повествователя: Джесси Джеймс очень любил Шекспира и часто цитировал наизусть, а на досуге вместе с товарищами по оружию разыгрывал сцены из его пьес. Нашему циничному времени очень не хватает таких бандитов.

Американский кофе принято часто и крепко ругать за слабость и прозрачность. Ругать незачем, надо просто понять, что это – совсем другой напиток, который и пьют по-другому. Тем не менее на главной улице городка Кистоун в Южной Дакоте уже появился ларек, в котором отпускают эспрессо. Но тут же в меню перечислен и туземный вариант, под презрительным итальянским прозвищем «кафе американо».

Кистоун, в переводе «краеугольный камень», – самый центр американского Дикого Запада, который в действительности размещен посередине континента. Это место – Черные Холмы, где в 70-х годах XIX века вспыхнула очередная «золотая лихорадка». Добраться сюда можно только на автомобиле, а в те легендарные времена – на лошадях по изнурительным горным дорогам.

Дикий Запад был гораздо менее диким, чем принято считать сейчас в оправдание собственной статистики преступности. Прибывая на новое место, пионеры первым делом выбирали шерифа с помощниками и принимали минимальный свод законов. Грабежи и убийства не были, конечно, особой редкостью, но, как показали архивные исследования, происходили реже, чем в современном Новом Орлеане или в Москве.

Многие из убитых известны и стали героями – по заслугам или вопреки им. «Бешеный» Билл Хикок – один из истинных героев, борец с рабством, разведчик куперовской традиции, затем возница, что-то вроде нынешнего водителя такси, одно время полицейский. О его подвигах, реальных и мнимых, есть множество историй, уже не подлежащих проверке, но его гибель стала просто былинной. В 70-х XIX века, вместе с сотнями искателей удачи, Хикок прибыл в Черные Холмы, в городок Дедвуд. Здесь его и настигла судьба: он был убит неизвестным в салуне за карточной игрой, а две восьмерки и два туза, которые были у него на руках в момент гибели, прозваны в покере «комбинацией мертвеца».

А вот еще героиня американского эпоса: подруга Билла Каламити-Джейн, Джейн-Беда. Девочкой она прибыла на Дикий Запад вместе с родителями, лишилась их в раннем возрасте и с тех пор зарабатывала на жизнь всеми возможными способами, одно время была даже содержательницей публичного дома. С Хикокком ее связывают разные истории, все отчасти апокри-

фические: то ли она была его любовницей в последние месяцы жизни, то ли женой, но гораздо раньше. Каламити попала в героини не столько из-за подвигов, сколько потому, что о ней написали множество так называемых «копеечных романов» – в конце XIX века, когда Дикий Запад переселился из истории в литературу. «Бешеный» Билл Хикок и Каламити-Джейн похоронены на городском кладбище Дедвуда.

В здешних местах Дедвуд – довольно заметный город, тысяча сто жителей. Основная и единственная индустрия – казино. Город состоит практически из единственной улицы, потому что в узкое ущелье больше не втиснуть. На этой улице на нас вдруг с любопытством оглянулась девушка с валдайскими чертами лица. «Простите, вы говорите по-русски?»

Ее подруга вышла замуж по международному объявлению в соседний Стерджис, шумную метрополию в несколько тысяч жителей. У мужа оказался никем не востребованный двоюродный брат в Дедвуде, и она тотчас выписала из родной Твери нашу милую собеседницу. Разговор был душевным и очень коротким, потому что бывшая тверянка торопилась на работу – то ли в ресторан, то ли в казино, других в Дедвуде нет. Уже два года она вспоминает русский язык только наездами в Стерджис.

Отправляясь в Черные Холмы, где живут большей частью индейцы, а в долинах пасутся бизоны, я меньше всего ожидал встретить бывшую соотечественницу, полагая, что нога русского сюда не ступала. Но статистика способна на любые парадоксы: не исключено, что в Твери еще остались незамужние, а у дедвудских двоюродных братьев есть третий. Предупреждаю: только одна улица, рестораны и казино.

Городишко Лед – в нескольких милях к югу от Дедвуда. Сюда, после открытия нового месторождения золота, переселилось большинство искателей счастья, так что Дедвуд в несколько дней практически опустел. В Леде по сей день существует действующий золотой прииск, но скорее для туристической забавы, чем всерьез. В остальном же город, где казино нет, погружен в летаргию. Мы зашли в антикварную лавку, и последовал немедленный вопрос хозяина: «Откуда вы?»

Я пустился в привычные объяснения. Выслушав, хозяин сказал: «Я слепой».

Он сидел за кассой, глядя немигающими глазами в стену, и комментировал товары, мимо которых мы, по его представлению, проходили: тряпичная кукла, стеклянные флаконы, солонка и перечница в форме бюстов Джорджа и Марты Вашингтон. Он рассказал, что сам наполовину чех, по четверти с материнской и отцовской стороны – в этих местах обосновались многие переселенцы из Чехии. В отличие от подавляющего числа американцев он даже слышал о радио «Свобода». Когда мы выбрали покупку и пришло время платить, до меня вдруг дошло, что американские купюры – все одинакового размера. «Я вам верю, – сказал хозяин, – у меня нет иного выбора». Я старательно отсчитал и передал ему три по двадцать и десятку, вслух объявляя достоинство каждой. На нем была нестираная рубашка и мятые брюки, признаки одинокой жизни. Я в мыслях понадеялся, что все другие покупатели так же честны с ним, как и я, и тут же пристыженно покраснел. К счастью, он был слепой.

Одна из достопримечательностей Черных Холмов – гора Рашмор, на которой высечены лица четырех президентов США: Вашингтона, Джефферсона, Линкольна и Тедди Рузвельта. Другой здешний монумент, еще более грандиозный, известен пока гораздо меньше.

Согласно легенде, герой индейского сопротивления Крейзи Хоре (Бешеная Лошадь) обещал своему народу, что возвратится в камне. Вождь племени лакота Стоящий Медведь обратился к скульптору-самоучке Корчаку Зёлковскому с просьбой воплотить эту идею. Работы начались в 1948 году, но в отличие от горы Рашмор, где трудился большой коллектив и расходовались федеральные средства, Зёлковский крушил свою гору в одиночку более сорока лет. Ему помогали жена Рут и дети. Иногда подключались добровольцы, а средства собирали пожертвованиями или с туристов.

Крейзи Хоре, сын вождя племени сиу, сражался с белыми завоевателями на севере Великих Равнин во второй половине XIX века. Он одержал немало побед и внес свой вклад в знаменитый разгром отряда подполковника Кастора на реке Литл-Биг-Хорн в Монтане. Но история была не на его стороне, и в конечном счете пришлось капитулировать. В 1877 году он был вероломно убит американскими солдатами.

Зёлковского, которого всегда называли просто Корчак, уже нет в живых, а его работу продолжают добровольцы. Возле дома скульптора построен музей культуры американских индейцев: керамика, серебро с бирюзой и сердоликом, живопись на бизоньих шкурах. На книжной полке – словари исчезающих языков. Имя Крейзи Хоре на сиу – Та-Сунко-Уитко.

Индийский герой изображен на коне, но пока завершено только его лицо, воссозданное по воспоминаниям, ибо фотографий нет. Морда лошади еще только прорисована на гранитном склоне, но уже различимы контуры руки, простертой в сторону Великих Равнин. Крейзи Хоре сдержал обещание и возвратился домой, а подвиг Корчака посрамил создателей египетских пирамид: свобода способна на большее, чем самое услужливое рабство.

Эта странная страна, эти казино и бизоны – мой дом. Я прожил здесь тринадцать лет, десять лет как отсюда уехал. У меня давно нет здесь ни кола ни двора – как, впрочем, и в любой другой стране.

В каждом мотеле, в каждом номере есть телевизор. Включая, видишь спасателей, которые роются в руинах, остолбеневшие лица очевидцев, слезы немногих уцелевших. В Москве и Волгодонске взрывают дома. В этой стране я тоже когда-то жил, ее язык для меня прозрачен, как английский в Америке, и горе этих людей мне понятнее, чем беды Турции или Тайваня. Но и там у меня нет дома, который кто-то мог бы взорвать. Никогда не было.

Сент-Пол, столица штата Миннесота, – практически один город с Миннеаполисом, без зазора. Их называют Твин-Ситиз, города-близнецы. В общем пригороде – Mall of America, крупнейший в мире крытый торговый центр, сотни магазинов, рестораны, кинотеатры. Во внутреннем дворе под стеклянным куполом – детские аттракционы, поддельные скальные пейзажи, фальшивая итальянская траттория. Это – Америка, которую знает каждый. Не моя.

В Сент-Пол я прилетаю почти наобум, давно наскучив Нью-Йорком и Вашингтоном. Здесь у меня друзья по Мичиганскому университету, отсюда рукой подать до Великих Озер, до Анн-Арбора, до тех же Черных Холмов – пара дней на прокатном «понтиаке». Это уже Америка.

Откуда я? Десять лет назад я ненадолго вернулся в Европу, визит затянулся, но у меня есть куда возвращаться и куда однажды вернуться навсегда. Не обязательно в камне.

Что такое дом? По словам поэта Роберта Фроста, дом – «это место, куда тебя обязаны впустишь». Такое место есть. И я по-прежнему его люблю.

ИСТОРИЯ И ПРАВДА

17 декабря 1999 года в возрасте 91 года скончался выдающийся американский историк Вэн Вудвард. Он был южанин, в американском историко-географическом смысле, и его труды в основном связаны с американским Югом периода Гражданской войны и Реконструкции. Вот что написал о нем в газете Washington Post профессор журналистики Эдвин Йодер.

В нынешнем, уходящем столетии было много прекрасных толкователей южной истории, но, на мой взгляд, среди них лишь два колосса: писатель Уильям Фолкнер и историк Вэн Вудвард... [Вудвард], столь радикально разбивший вдребезги региональные предрассудки, был [тем не менее] до мозга костей патриотом Юга, хотя и довольно необычным. Он с недоверием относился к американскому мифу исключительности, точке зрения, согласно которой американцы избраны провидением быть нравственными наставниками подверженного греху человечества. Южанам, как он разъяснил нам в своих замечательных статьях, это известно лучше, чем кому бы то ни было. Юг испытал поражение и трагедию, зло рабства и расизма, нищету и унижение; и этот опыт должен породить в нас иммунитет к гордыне, воплощенной в образе «города на вершине горы». Это было для многих из нас мощное противоядие от мифа и в значительной мере стало частью нашего внутреннего образа.

Думаю, что не ошибусь, предположив, что большинство россиян, в том числе и вполне образованных, никогда не слышало о Вудварде. Русские сегодняшнего дня мало интересуются американской историей, и это помогает воспрянувшим идеологам империи орудовать невежественными и злобными стереотипами. У русских, впрочем, есть довольно фундаментальное оправдание: своей собственной историей они тоже интересуются не весьма. Может быть, дело в том, что они ей не верят, а из лжи не извлечешь никаких разумных уроков. Тем уместнее уделить несколько минут чужому прошлому и показать, чем может быть история и историк для своей страны.

Вэн Вудвард и другие историки Юга работали в принципиально свободной стране, но они жили в реальной атмосфере своего времени и были подвержены реальному социальному давлению. Задолго до появления термина «политическая корректность», который на самом деле точнее переводится как «политическая правильность», существовал и господствовал один из первых принципов этой идеологии: Юг проиграл Гражданскую войну потому, что был обречен морально и исторически. Сторонники морального поражения выделяли в первую очередь несовместимость рабства с современными нравственными принципами, недопустимость существования людей второго сорта в стране, чья конституция утверждает равноправие перед законом.

Что же касается сторонников теории «политической обреченности», большей частью марксистов, то они, отвергая моральные аргументы как фикцию, утверждали, что отсталый полуфеодальный Юг был обречен проиграть динамичному индустриальному Северу. Иными словами, правота Севера была не столько нравственной, сколько экономической.

Но во второй половине XX века в исторической науке появилась новая дисциплина – клиометрия. Ее сторонники отвергли повествовательный и оценочный метод своих предшественников, в том числе и Вудварда, утверждая, что единственный способ объективного исследования – это статистический анализ сохранившихся документов и остатков материальной культуры. Результаты клиометрических исследований американского Юга вызвали у традиционных историков настоящий шок.

Согласно этим исследованиям, условия жизни и труда рабов на плантациях американского Юга в канун Гражданской войны не только не уступали условиям свободного труда на Севере, но порой были даже более гуманными. В любом случае диета рабов была лучше, чем у белых наемных рабочих на Юге, а труд – производительнее. Перед войной американский рабовладельческий Юг имел самую высокую в мире производительность труда после Великобритании. Труд рабов на плантациях Юга был на 35 процентов производительнее фермерского труда на Севере.

Что же касается ужасов работорговли, заклеянных в «Хижине дяди Тома», они были реальными, но далеко не типичными. Как правило, семьи при продаже не разделялись, да и вообще такие продажи были нечастыми – они производились не с целью прибыли, а для повышения эффективности производства, и доход от них не превышал 1 процента всех прибылей. В среднем южные предприниматели-рабовладельцы были вдвое богаче северных, эксплуатировавших свободный труд, и это не оставляет камня на камне от всех выкладок марксистов.

Неудобнее всего оказался тот факт, что северные борцы с рабством, аболиционисты, побуждаемые самыми благородными чувствами, на практике не гнушались прямой клеветой и эксплуатацией низменных инстинктов рабочих масс для реализации своих целей. Знаменитый Джон Браун, ставший знаменем аболиционизма, был несомненно психически неуравновешенным человеком и беглым уголовным преступником. В рецензии на книгу Роберта Фогеля «Без согласия и контракта» Вэн Вудвард пишет:

Фогель обнаруживает, что участники морального крестового похода были вынуждены «компрометировать свои принципы, объединять усилия с оппортунистами, принимать аморальные предложения... и намеренно вводить в заблуждение», потому что «они могли одолеть грех лишь посредством греха». С другой стороны, «их дело было нравственным, а намерения – добродетельными», и «обман вредил лишь рабовладельцам»... Хотя «рабство было выгодным, эффективным и экономически рациональным... оно никогда не было морально позитивным». Вместо «приговора, вынесенного победителями в борьбе с рабовладением», считает он, «нам нужен новый приговор», более современный.

Каким же может быть этот приговор и, что куда важнее, в чем же тогда оправдание войны – самой кровавой из всех известных человечеству до тех пор? Ввиду того, что рабство не было таким наглядным проявлением зла, каким его считали до недавних пор, война, по мнению Фогеля, оказалась еще более неизбежной и необходимой. Вот что пишет Вудвард в той же рецензии:

По мнению Фогеля, война была единственным способом положить конец рабству в Соединенных Штатах, и он согласен поэтому допустить, что наша страна была единственным из двадцати с лишним рабовладельческих обществ, неспособных найти мирный путь к эмансипации. Сила и уверенность рабовладельческого Юга росла, а не уменьшалась, и, как предполагает автор, получив независимость, «он стал бы крупной международной силой», вполне возможно, «одной из сильнейших в мире военных держав». Он полагает также, что мирное отделение Юга надолго отсрочило бы освобождение рабов в стране, повсеместно затормозило бы движение против рабства, усилило бы крепостничество в местах, где оно еще сохранялось, и помешало бы борьбе за демократические права низших классов в Европе.

Итак, истина и справедливость в конечном счете устояли перед лицом исторической достоверности. Реальная картина получилась сложнее и вышла не такой черно-белой, как хоте-

лось бы авторам поучительных и патриотических учебников, но даже плохая правда – лучше хорошей выдумки.

Попутно отметим крушение еще одного стереотипа: русские патриоты любят отмечать, что в России рабство было ликвидировано мирным путем за четыре года до того, как это произошло в США. Но русское крепостничество не имело ни малейшего экономического оправдания, его отмена не была сопряжена ни с какими реальными жертвами для страны, тогда как в Америке в результате войны процветавший Юг на долгие десятилетия погрузился в экономические и политические сумерки.

И если возвратиться к фигуре историка в современном американском обществе, необходимо отметить, что он по сей день остается реальным действующим лицом в социальном диалоге. Вэн Вудвард, Барбара Такман и ныне здравствующий Артур Шлезингер-младший – столпы американской культуры второй половины XX века, соперники политиков и журналистов, творцы и двигатели общественного мнения. Историк напоминает политику, что дисциплина у них – общая, а избирателю – что история не заканчивается на последней странице учебника и что увернуться от политики – значит дезертировать из истории собственной страны.

Кончина Вэна Вудварда и дань, воздаваемая ему на страницах газет и журналов, напомнила мне о параллельном событии минувшего года по эту сторону океана, о недавнем уходе академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, историка культуры, специалиста по древнерусской литературе. Надо сказать, что кончина Лихачева вызвала в российской прессе гораздо более широкий резонанс, чем кончина Вудварда в Америке, – в российских масштабах он был фигурой более крупной, не просто историком, но и видным общественным деятелем.

Позицию Лихачева в российском спектре мнений можно определить термином «просвещенный патриотизм» – понятие в разных культурах относительное, тем более что не вполне просвещенный патриотизм *à la russe* в других странах вообще сочтут выходящим за рамки цивилизованного диалога. В любом случае у Лихачева просвещенность его патриотизма была коренным образом иной, чем у его американского коллеги. Вэн Вудвард считал патриотическим долгом историка рассказать своей стране правду о ее прошлом, какой бы неудобной ни была эта правда для господствующего мнения. Совсем иное дело – концепция Лихачева. Я позволю себе привести небольшую цитату из его предисловия к различным изданиям «Слова о полку Игореве».

...В следующем, 1185 году Игорь, «не сдержав юности» – своего молодого задора, без сговора со Святославом и Рюриком бросается в поход против половцев... Высокое чувство воинской чести, раскаяние в своей прежней политике, преданность новой – общерусской, ненависть к своим бывшим союзникам – свидетелям его позора, муки страдающего самолюбия – все это двигало им в походе. Смелость, искренность, чувство чести столкнулись в характере Игоря с его недалковидностью, любовь к родине – с отсутствием ясного представления о необходимости единения, совместной борьбы. Игорь в походе действовал с исключительной отвагой, но он не подчинил всю свою деятельность интересам родины, он не смог отказаться от стремления к личной славе, и это привело его к поражению, которого еще не знали русские.

Прежде всего здесь бросается в глаза употребление терминологии, совершенно неприменимой к упомянутому периоду истории. Терминология эта насквозь идеологична, без малейшей претензии на объективность. Во избежание многословия просто отмечу, что любого западного историка за одно слово «родина» без мысленных кавычек наградили бы волчьим билетом. Напомню, что по-немецки «родина» – *Vaterland*.

Кроме того, такое толкование мотивов Игоря категорически противоречит всему, что мы о нем знаем из того же «Слова», и наводит на мысль, что для автора предисловия правильное толкование намного важнее правильных фактов. Есть профессия, в которой это приблизительно допустимо, но называется она «публицист», а не «историк».

«Слово о полку Игореве» было одним из главных средоточий интересов академика Лихачева, и его кончина означает, что он уже никогда не объяснит нам своей роли в одном из печальных эпизодов недавней советской историографии – многолетней травли поэта Олжаса Сулейменова, позволившего себе публично усомниться в каноническом шовинистическом толковании древнерусского памятника.

Самое поразительное во всей этой «истории», как с маленькой, так и с большой буквы, что речь идет не о событиях последнего столетия, где факты менялись по прихоти очередного вождя, а о седой древности. Россия считает и всегда считала себя единым государством с Киевской Русью, начиная с ее истоков, и российская концепция государственного величия требует, чтобы и в Киевской Руси все обстояло наилучшим образом, тогда как на самом деле, как везде и всегда, все обстояло по-разному. Опираясь на те же исторические источники и на концепции, общепринятые за пределами патриотической историографии, легко представить себе эту древность иначе, чем по сей день внушают школьникам и студентам.

Многие советские и российские историки опровергают эпизод с приглашением варягов на Русь, почему-то полагая его унижительным для национальной чести. Вполне возможно, что такого приглашения действительно не было. Варяги, то есть викинги, обычно приходили без приглашения и везде делали что хотели. VIII веке викинги Аскольд и Дир захватили Киев, один из торговых городов хазарской империи, прежние правители которого носили хазарский титул «каган». Их правление оказалось недолговременным – с севера, из основанного норманнами Новгорода, пришел другой викинг, Олег, который расправился со своими торопливыми соплеменниками. Начиная с Игоря в Киеве стала править скандинавская династия Рюриковичей, и, хотя Святослав был еще типичным норманнским авантюристом и разбойником, его потомки и их дружины обрусели и распространили свою власть на многие другие княжества.

Хотя сыну Святослава, Владимиру, приписывается честь крещения Руси, ее уже однажды крестили почти за сотню лет до этого Аскольд и Дир – это был венец и триумф известной миссии Кирилла и Мефодия. Но язычник Олег рассудил по-иному, и вся слава досталась Рюриковичам.

В середине XI века Киевская Русь стала приходить в упадок, и династический центр переместился на север, в Суздальскую и Владимирскую земли, население которых представляло собой смесь славян и угро-финнов. Русью эти земли в классические времена никогда не именовались. Русью, если настаивать на точности, обычно именовалась киевская военно-торговая верхушка, норманны и хазары, а один из зарубежных гостей, оставивший воспоминания, даже не понял, что посетил славянское государство, – по его представлениям, славянские земли заканчивались на польской границе. Их владения именовались «русской землей», а одной из основных статей дохода государства, по многочисленным свидетельствам, была работоторговля – надо полагать, что торговали не норманнами и не хазарами. Слово «русские» в его современном значении, употребляемое Лихачевым даже в отношении времен Игоря, – нарочитый и фальшивый идеологический анахронизм.

Я, конечно, вовсе не делаю вид, что изложил здесь авторитетную версию древнерусской истории. Моя цель – показать, что факты допускают иное толкование, свободное от имперской идеологии. Было бы нелепостью отрицать происхождение современной России от Киевской Руси, но такое происхождение ничего не доказывает и никому на руку не играет. Франция – романская страна, но никому не приходит в голову сращивать ее историю с древнеримской или отрицать факт основания французской государственности германским племенем франков. Никому не приходит в голову видеть в этом что-то унижительное.

Итак, если судить по фигуре Дмитрия Лихачева, роль историка в российском обществе радикально отличается от его роли в обществе американском. Это не поборник истины наперекор стереотипам, а скорее идеологический мифотворец. Еще меньше от истории и еще больше от мифа в творчестве таких несомненно популярных авторов, как Лев Гумилев и Николай Фоменко.

Мне не раз приходилось слышать от русских собеседников упреки в «политизированности» – с намеком, что это как бы не пристало человеку гуманитарного склада. Эти упреки всегда повергали меня в недоумение. В английском языке есть целых два термина, соответствующих русскому слову «политика», но даже их суммарное значение намного уже, чем у русского эквивалента. Создается впечатление, что под «политикой» подразумевается все, что не входит в сферу частных и профессиональных интересов, а на радио – все, что не музыка.

На самом деле под политикой, конечно же, подразумевается история – та, которая, как я уже упомянул, начинается, а вернее, продолжается за последней страницей учебника. Но в учебнике – по-прежнему ложь, будь то о вчерашнем дне или о седой старине. Политика, эта неписанная история, сейчас так же непрозрачна, как деяния Аскольда и Дира, а ее летопись, пресса, излагает не факты, а оплаченные версии своих хозяев. Этот порочный круг лжи учит постоянному недоверию к правде. Правду надо начинать преподавать с первого класса, иначе человек от нее отвыкает.

Там, где историк пристально смотрит из-за спины журналиста, он всегда сумеет поправить не в меру разыгравшееся воображение. Но этот механизм не сработает в обществе, где историк и журналист состоят в совместном сговоре. В России историей слишком часто управляло правительство с помощью преданных идее профессионалов – при этом неважно, преданных за деньги или по совести. Результатом явилась почти полная подмена реального прошлого патриотическим, и любое выступление против патриотизма приравнивалось к измене, в чем, на свою беду, однажды убедился Сулейменов.

Беда в том, что идеология, повелевавшая прошлым, получает полную связку ключей к будущему. Это будущее – ваше и мое. «Вы узнаете истину, и истина сделает вас свободными» – это сказано не мной, и в гораздо более высоком смысле. Но с чего-то надо начинать.

ПОСЛЕ КАМЮ

С философской точки зрения традиция атеизма и агностицизма несколько мелковата. Она имеет тенденцию затвердевать в подбитый гвоздями антиклерикализм или размягчаться в рационалистическую невозмутимость. В ней есть разброс между вполне обаятельным оптимизмом и довольно мелким ерничеством. Можно вспомнить спокойную иронию «Философского словаря» Вольтера, где царствие небесное... сравнивается с «легким пушком», каким обрамлен кокон шелкопряда, или Юма, высмеивающего идею, что небеса достаточно велики, чтобы вместить миллионы душ. Многим неверующим кажется вполне очевидным, что религия – не спасение для нас и поэтому на нее не стоит тратить аргументы. Для Стендаля, если судить по его беллетристике, все священники – лицемеры, и потому вся религия – ханжество и чепуха.

Так начинается статья Джеймса Вуда «Жизненная немочь», опубликованная в одном из недавних номеров американского журнала *New Republic* и посвященная выдающемуся французскому писателю Альберу Камю. Джеймс Вуд – один из талантливых представителей молодого поколения американских критиков и эссеистов, и я с большим интересом слежу за его творчеством. Название статьи, «Жизненная немочь», – прямой намек на известную книгу датского религиозного философа Сёрена Киркегора «Смертельная немочь» о фундаментальных проблемах христианства. Вуд не объясняет, почему он выбрал именно Камю в качестве предмета своих размышлений, но достаточно взглянуть в календарь: 4 января исполнилось 40 лет со дня гибели писателя в автомобильной катастрофе.

Я вполне разделяю упрек, брошенный автором в адрес теоретиков атеизма. Свободный человек вправе сам выбирать себе мировоззрение, и если он считает, что Бога нет, – таков его свободный выбор. Но если, приняв такое решение, он просто вновь берется за газету или садится к телевизору, его выбор не заслуживает уважения. Устранение Бога оставляет в мироздании такую дыру, что вся оставшаяся жизнь должна уйти на ее штопку, в то время как средней руки атеист продолжает жить как ни в чем не бывало. Бертран Рассел, один из виднейших атеистов нашего столетия, утверждал, что у нас просто нет иного выхода, кроме как смириться с фундаментальной бессмысленностью нашего существования. Смириться – вот ключевое слово, но есть люди, которым этот выход не подходит ни по их духовному складу, ни по темпераменту.

По мнению Джеймса Вуда, самая острая и проницательная критика религии всегда исходила именно изнутри религии, от сомневающихся и стоящих на краю, ибо им известно, как высока ставка в этой игре. Можно вспомнить еще библейскую Книгу Иова. Ближе к нашему времени – уже упомянутый Киркегор, который убедительно продемонстрировал всю нелепость христианства и пришел к выводу, что единственный способ преодолеть эту нелепость – безоговорочная вера. Достоевский в «Легенде о Великом Инквизиторе» устами римского кардинала опроверг Христа. Взгляды Киркегора и Достоевского граничат с атеизмом, но не переходят грани, которую решительно переступил сын лютеранского пастора Фридрих Ницше. В отличие от легиона салонных атеистов своего и последующего времени Ницше отчетливо видел метафизическую дыру, в которую он низвергает человечество, и предпринял титаническую попытку создать, а вернее, провозвестить новую этическую систему – героическую мораль сверхчеловека, общества, преодолевшего суеверные предрассудки. Он, конечно, не мог предвидеть, к чему сведут его экстатическое прозрение роботы Третьего рейха.

Почему же именно Камю? По словам Джеймса Вуда, Альбера Камю никто не берет в свои: философы считают его писателем, а писатели – философом. Камю писал притчи, будь

то в форме эссе или художественных произведений, главная тема которых – жизнь в мире без Бога.

Как и его великие предшественники на пути к атеизму, с которыми он ведет постоянный диалог в эссе военных лет «Миф о Сизифе», Камю понимал, что отрицание Бога коренным образом меняет правила игры, и надо придумывать новые, пытаться по-новому жить. Бога нет, но остается смерть, которая, ставя последнюю точку в конце биографии, перечеркивает жизнь целиком, делает ее как бы никогда не бывшей. Эта жизнь во Вселенной без творца, без искупления, перед лицом неизбежной смерти, представляется фарсом. Такой ее видел и Достоевский, герой которого, последовательный атеист Свидригайлов, не находит иного выхода из этого метафизического тупика, кроме самоубийства.

Вывод Камю радикально иной: самоубийство – это сдача, преждевременная уступка смерти. Смерть победит все равно, но, пока человек жив, именно эту жизнь он может превратить в ежедневное поражение смерти. Согласие на непререкаемые условия абсурдного мира становится героизмом, осознание собственного героизма становится победой. В сущности, перед нами религиозная концепция, акт веры, преобразующий обреченность в надежду. Вот символ веры Камю в изложении Джеймса Вуда:

Первый шаг – это превращение комического в абсурдное, преобразование ежедневного повторения в вечное повторение Сизифа. Комическое становится абсурдным именно в тот момент, когда нас заставляют увидеть его комичность: абсурдное – это, отчасти, понимание, что жизнь – фарсовая пантомима. Затем абсурдный человек должен начать долгую, постоянно повторяющуюся борьбу против условий этого фарса. Это – борьба, которая никогда не кончается, которая продолжается ровно столько же, сколько и жизнь, которая и есть эта жизнь – вот почему абсурдный человек не может покончить самоубийством. И поскольку это – цепь повторений, абсурдную жизнь практически нельзя отличить от обычной комической ежедневной рутины. Формально это может выглядеть практически одинаково. Надо полагать, что абсурдный человек может точно так же ходить на работу, стоять вместе с другими в метро. Внутренне, конечно же, абсурдная жизнь – совершенно иная, потому что абсурдный человек сознает разницу между невежественной рутинной и бунтарским повторением.

Иными словами, бунтаря во имя абсурда отличает от рабов фарса только внутренний акт веры. Атеизм Камю, равно как атеизм Ницше или отступление Киркегора и Достоевского назад в христианство, – это выбор веры. Он не имеет ничего общего с рациональным вынесением Бога за скобки, с арифметической операцией Рассела, Фрейда, Вольтера или, на уровне фарса, канувших ныне в историю и подавшихся в политологи профессоров советского «научного атеизма». Доказывать небытие Бога – такая же бессмысленная операция, как и доказывать его существование. Свободный выбор нельзя подменить арифметической выкладкой.

Подобно Достоевскому, своему кумиру и оппоненту, Камю в эссе и художественных произведениях писал только об этом центральном выборе. У Достоевского в большинстве главных романов сохраняется противостояние между героизмом веры и обреченностью атеизма, между Соней и Свидригайловым, Алешей и Иваном – выбор происходит на глазах у читателя. Выбор персонажей Камю, как правило, уже сделан, вера в Бога отвергнута, и герои предстают перед нами убежденными бунтарями абсурда. Символ такого бунта – герой «Чумы» Гран, который многократно начинает писать один и тот же роман.

По мнению Джона Вуда, специфика и порок веры Альбера Камю, веры в отсутствие Бога, состоит в невозможности дать предписания для правильной жизни – правильной, разумеется, для этого типа веры. В той мере, в какой эти предписания вообще даются, они могут пока-

заться чистой тавтологией, простым описанием жизни как она есть. Разница между сдачей и бунтом различима лишь внутреннему взору самого восставшего, и, в конечном счете, весь бунт эквивалентен простому объявлению бунта. Можно все свести к парадоксу и считать, что, коль скоро человек объявил себя борцом против нацизма или советской власти, ему уже незачем совершать бунтарские поступки, можно просто ходить на службу и соблюдать тоталитарные законы. Разница между нацизмом и смертью очевидна – в нацизме нет окончательности, и Камю закономерно оказался в лагере Сопrotивления. Но герои «Чумы», которую обычно толкуют как притчу о нацизме, на самом деле восстают на все мироздание, и боюсь, что здесь у них нет для нас никакого урока.

И еще раз: почему же именно Камю? Если у героев «Чумы» нет для нас урока, то чему нас может научить ее автор?

Статья Джеймса Вуда, американского критика, напечатана в американском журнале, и этот факт сам по себе заслуживает внимания. В конце концов, Америка – самая религиозная среди развитых стран, большинство ее населения верит в загробную жизнь, а на ее монетах красуется девиз «Веруем в Бога».

Тем не менее популярность Камю в Соединенных Штатах, на мой взгляд, даже выше, чем у него на родине – я, конечно, имею в виду Францию, а не Алжир. Сейчас, в цифровой век, в этом очень просто убедиться путем поиска в Интернете. Подавляющее большинство сайтов с биографией и всяческими почестями классику устроены именно в США. Его книги включены в стандартные университетские программы, и образованный с гуманитарным уклоном американец всегда поддержит беседу о «Постороннем» или о «Чуме».

Америка, с ее знаменитым «библейским поясом» и телевизионными проповедниками, – одна из крупнейших школ атеизма нашего времени. Этот факт легко ускользает от общего внимания, потому что религия и атеизм существуют в практически несмыкающихся сферах и потому что атеизм, в отличие от харизматической религии, не имеет миссионеров. Когда я говорю об атеизме, я, конечно, не имею в виду лекторов общества «Знание» и уже упомянутых «научных» безбожников. И однако, все дело именно в науке. Америка ежегодно собирает большую часть урожая Нобелевских премий в области естественных наук.

В противоположность расхожему мнению, утверждающему, что многие крупные ученые верят в Бога, большинство ведущих физиков, космологов и биологов нашего времени – атеисты или агностики. Некоторые этого просто не скрывают, другие – открыто проповедуют. И дело совсем не в том, что религия и наука в принципе несовместимы. Дело в методе.

Наука считает, что любой факт реальности объясним естественными причинами, и прибегать к сверхъестественным нет никакой надобности. Эта уверенность хорошо послужила науке, и ее ведущие представители работают сейчас, ни мало ни много, над общей теорией всего, то есть над методологией тотального объяснения всего существующего. Сюда входят такие эзотерические дисциплины, как физика первых долей секунд существования Вселенной или вариант квантовой теории, утверждающий наличие бесконечного множества параллельных вселенных.

Повестка дня современной науки, если оставить в стороне вопрос школьного образования, не включает в себя борьбу с церковью. Бога отвергают не за то, что он враждебен, а потому, что он не нужен. В мире науки все объяснимо без Бога, даже если пока и не объяснено.

Таково, по крайней мере, отношение к религии большинства ученых, хотя есть и воинствующие исключения. В частности, известный биолог Ричард Докинс регулярно и прямо полемизирует с религией: в своей книге «Слепой часовщик» он доказывает, по крайней мере старается доказать, что наш мир не только не создан верховным разумом, но и не мог быть им создан.

В любом случае, большинство атеистов от науки принадлежат к упомянутой Вудом категории: подобно Вольтеру, Юму или Расселу они настаивают на бессмысленности Вселенной и предлагают нам смириться с этой очевидностью.

Тем разительнее на этом фоне исключения. Известный американский космолог Фрэнк Типлер – такой же атеист, как большинство его коллег. Однако, перед лицом факта научной бессмысленности существования, он решил пойти дальше и подвести научный фундамент под религию – а вернее, возвести саму религию на этом научном фундаменте. Его книга «Физика бессмертия» изобилует формулами и графиками, не говоря уже о математическом приложении для специалистов, и излагать ее аргументацию мне здесь не под силу. Достаточно сказать, что на основании целого аппарата научных аргументов он приходит к следующим выводам:

1. Мы – единственные разумные существа во Вселенной, но ничто не мешает нам освоить и завоевать ее целиком.

2. Основной продукт разумного существования – информация, и в конце времен, когда запасы этой информации достигнут бесконечности, эволюционный разум станет всемогущим, практически Богом.

3. Располагая необходимыми возможностями и побуждаемый этическими соображениями, этот разум будет в состоянии воскресить всех нас и поместить в вечную жизнь, соответствующую религиозным убеждениям каждого.

Любая космология, предполагающая продвижение в бесконечность, неминуемо завершится Богом. Далее, надежда на бесконечный светский прогресс и надежда на индивидуальную загробную жизнь оказываются взаимно тождественными. Эти две надежды не только не противоположны друг другу, но и нуждаются друг в друге: нельзя питать одну, не имея другой.

Эта сногсшибательная теория, изобилующая допущениями и предположениями, вполне предсказуемо вызвала осуждение многочисленных коллег автора, усмотревших в ней погоню за славой и деньгами. Но нельзя не упомянуть, что у некоторых научных авторитетов книга Типлера нашла в целом благожелательный прием. Надо сказать, что Типлер во многом повторяет учение известного французского мыслителя Тейяра де Шардена, но на место чистых домыслов последнего подставляет формулы.

Значит ли это, что мы теперь избавлены от завещанной апостолом Павлом необходимости беспрекословной веры? В конце концов, доказательство, пусть и с применением не каждому посильной математики, выглядит надежнее, чем простое упование, ложность которого мы за гробом можем не успеть проверить.

Вот тут-то нас и поправит Альбер Камю. К своему атеизму он пришел тем же рациональным путем, что и Бертран Рассел или его нынешние ученые последователи. Но такой атеизм приводит в бессмысленный тупик, он непригоден для собственного жизнеустройства. Акт принятия или отвержения Бога в конечном счете может быть только личным, только результатом сознательного выбора, только актом веры. Атеист видит абсурд в комизме ежедневного повторения и поднимает парадоксальный бунт, соглашаясь на этот абсурд. Альтернативой может быть выбор Киркегора, но и в нем нет ничего рационального, ибо сам Киркегор неустанно подчеркивает его абсурдность.

Между прочим, рационализм вовсе не является прерогативой атеистов. Но даже такой отъявленный рационалист, как Фома Аквинский, обрел свою веру не на основании выстроенных им доказательств бытия Божия – он имел ее изначально. Для современного рационалиста этот путь фактически закрыт: и Достоевский, и Киркегор уверовали в результате беспощадного анализа и абсурдного выбора – более абсурдного, чем выбор Камю. Они сами прекрасно это сознавали.

Каковы уроки Камю наступающему скептическому столетию? Атеизм не может быть результатом простого ученого анализа жизненной ситуации – он требует веры не в меньшей, а скорее даже в большей степени, чем религия. Чтобы не стать простым поводом к досужей болтовне, атеизм сам должен быть религией, причем самой трудной из всех – верой в абсурд.

Камю, конечно, не был философом в том смысле, в каком им был Ницше; его «Миф о Сизифе» – это в первую очередь евангелие для себя самого. Но именно в этом пункте он сумел заглянуть дальше, чем его ученый предшественник, и показал почти невыносимую элитарность атеизма, полное одиночество, на которое он обрекает. Атеизм в терминах Камю равнозначен героизму, а героизм нельзя проповедовать. Лечь самому на дзот – совсем иное дело, чем подбивать к этому других. Ницше полагал, что крушение христианской этики можно компенсировать этикой сверхчеловека. Но сверхчеловек – это по определению всегда другой, как оказалось – нацист. Герой – это я сам, в одиночку противостоящий нацизму и смерти.

Но, может быть, самый важный урок Альбер Камю преподает верующему. Этот урок тем разительнее, что он исходит не от единомышленника вроде тех же Киркегора и Достоевского, а от оппонента. Ибо, если атеизм неизбежно становится актом героизма, религия не имеет права соглашаться на меньшее. Тот факт, что многие воспринимают этот урок инстинктивно, а вовсе не от чтения книжек, не может не беспокоить плюралистическое общество. Вера, ставка в которой буквально больше, чем жизнь, презирает тонкости плюрализма. Первохристиане шокировали римское общество, идя на мученическую гибель из-за отказа воскурить идолу кесаря. Современное общество и его респектабельные церкви приходят в ужас от новоявленных сект, требующих буквального освящения всей жизни прихожан. Парламенты принимают меры и законы против конфессий, которые они считают тоталитарными. Религия, как показывает история, привыкла одерживать свои победы методами, далекими от парламентских. Религия тоталитарна по своей природе – у нее, как и атеиста, больше нет выбора.

ДАР ВТОРОЙ РЕЧИ

Человек пишет, как думает: на языке, обретенном с детства. У большинства из нас этот язык один. Очень немногим удастся получить полные права в чужой письменности, а дойти до самых вершин – только единицам.

В числе этих считанных – русский писатель Владимир Набоков, эмигрант вдвойне, покинувший не только страну, но и язык. По его собственному признанию, английский стал для него первым письменным языком, он был привит ему с детства, а затем подкреплён образованием в Кембридже.

Другой известный пример литературного иноязычия – Джозеф Конрад, поляк по происхождению. Английский он выучил довольно поздно, в кругосветных плаваниях, что не помешало ему стать одним из крупнейших англоязычных писателей XX столетия.

По отзывам современников Набокова, в частности его студентов в Корнельском университете, он говорил по-английски с довольно сильным акцентом. То же самое сообщают о Конраде. Тем не менее оба стали образцовыми английскими стилистами, и, хотя Набоков, имевший обо всем твердые мнения, отзывался о Конраде пренебрежительно, я не уверен, что из этих двух предпочту именно Набокова.

Впрочем, речь пойдет ни о том и ни о другом. В каком-то смысле случай писателя, о котором я хочу рассказать сегодня, еще поразительнее.

Ха Джин, настоящее имя которого Цзин Сюфей, родился в 1956 году в китайской провинции Ляонин, в окрестностях Харбина. Когда ему было 14 лет, школьное образование в стране фактически прекратилось в результате культурной революции. Ха Джин подделал в документах свой возраст и поступил в Народно-освободительную армию Китая, где прослужил 10 лет, охраняя границу с Советским Союзом. Там же, слушая зарубежное радио, он начал изучать английский язык. Эта самодеятельная наука помогла ему затем поступить в университет. Вначале он читал адаптированные книги Стейнбека и Диккенса. Позднее, когда в Китае стали преподавать американские профессора, перешел к Уильяму Фолкнеру и Фланнери О'Коннор, которые были в свое время удостоены Национальной книжной премии США. В те годы он помышлял исключительно о карьере филолога и преподавателя – ему и в голову не могло прийти, что когда-нибудь его книги окажутся на полке бок о бок с американскими лауреатами.

Переломным годом стал 1985-й, когда Ха Джин получил возможность отправиться в аспирантуру в Соединенные Штаты, в университет Брандайс. Его английский был, судя по всему, еще далек от совершенства – даже сейчас, по словам Дуайта Гарнера в журнале *New York Times Magazine*, Ха Джин говорит с сильным акцентом и со сбивчивой грамматикой. Тем не менее в 1998 году сборник его рассказов «Океан слов» был удостоен Хемингуэевской премии ПЕН-клуба, а его роману «Ожидание» присуждена высшая американская литературная награда: Национальная книжная премия за 1999 год.

Как же получилось, что солдат армии коммунистического Китая стал одним из ведущих современных американских писателей? Вот что сам он думает по этому поводу:

Поскольку я планировал возвратиться в Китай, вся моя учеба в аспирантуре и моя диссертация были ориентированы на континентальный [китайский] рынок, а вовсе не на американский рынок труда. Мне было очень трудно найти здесь университетскую работу. У меня уже была опубликована книга стихов по-английски, и поэтому я подумал, что, если я опубликую еще какие-нибудь книги по-английски, я смогу найти работу по преподаванию литературного творчества. Фактически, писать меня заставил инстинкт самосохранения.

Желание Ха Джина исполнилось – сейчас он преподает английскую литературу в престижном университете Эмори в Атланте. Его устная английская речь, судя по всему, по-прежнему оставляет желать лучшего. Вот что пишет в журнале Дуайт Гарнер, беседовавший с писателем у него дома:

Джин более или менее приспособился к кислородной норме Америки. Но впечатление от его борьбы с тонкостями устной речи... поразит каждого, кто впервые услышал его голос в литературе. На бумаге Джин демонстрирует такую легкость в языке, о какой большинство писателей может только мечтать. Его первый роман, «Ожидание», история китайского врача, который хочет положить конец своему насильственному браку и жениться на более современной женщине, недавно удостоен Национальной книжной премии – через какие-нибудь 11 лет после того, как Ха Джин всерьез взялся писать по-английски. За 50-летнюю историю этой премии лишь два других писателя, не бывшие урожденными носителями языка, стали ее лауреатами в области художественной литературы: Исаак Башевис-Зингер и Ежи Косински.

Напомним, однако, что Башевис-Зингер всегда писал на идиш и премию получил за перевод. Что же касается Ежи Косински, который впоследствии покончил с собой, ему пришлось защищаться от обвинений в плагиате, и эту слишком запутанную тему я здесь поднимать не стану.

Каким образом человек, выросший и воспитанный в совершенно иной культуре, становится писателем на иностранном языке? Для каких-нибудь общих наблюдений материала смехотворно мало, но и без того видно, что случай Ха Джина значительно отличается от остальных.

Владимир Набоков, как я уже отметил, поменял и страну, и литературу. Он прибыл в Соединенные Штаты уже сложившимся русским писателем, пусть даже практически неизвестным на своей новой родине. В его романах, написанных по-английски, легко уловить отголоски сложившегося русского стиля.

Куда типичнее, однако, биография Джозефа Конрада. Конрад, если оставить в стороне некоторые несущественные опыты по-французски, сложился и получил известность именно как англоязычный писатель – у него не было стиля, который пришлось бы импортировать.

В этом смысле Ха Джин ближе к Конраду, чем к Набокову: английский – первый и единственный для него литературный язык. На вопрос журналиста, почему он не пишет на родном китайском, Ха Джин ответил, что литературный китайский для него слишком выпященный, и то, что ему хочется сказать, по-английски выходит естественнее. Так же просто он объясняет разницу между своей сбивчивой устной речью и литературным стилем, который большинство критиков находит безупречным: над письменным словом можно работать, к нему всегда можно вернуться и поправить его. Устная речь рождается мгновенно со всеми присущими изъянами.

Парадоксальный вывод: стать иноязычным писателем в каком-то смысле даже легче, чем в совершенстве овладеть чужой устной речью. Надо, конечно, учесть необходимость такого фактора, как талант, но в остальном все довольно просто.

Но особенность биографии Ха Джина состоит в том, что писать он стал сравнительно поздно, то есть не ранее 29-летнего возраста, когда прибыл в США. Как ему удалось то, о чем многим коренным американцам остается только мечтать? У меня перед глазами всегда есть массовый и показательный пример: русская эмиграция в Америку 70-80-х годов, которой я был непосредственным свидетелем. Некоторые из детей этих эмигрантов, то есть люди, выросшие уже в новой стране, сейчас занимаются литературным трудом, но никто из них пока не выбился в первые величины. Что же касается людей моего поколения, эмигрировавших в зрелом возрасте, то я практически не упомяну ни одного случая перехода литературного рубежа. Амери-

канские страницы творчества Иосифа Бродского мне не представляются особенно удачными. Но об этом чуть дальше.

Рассуждать о секрете успеха Ха Джина невозможно, не ознакомившись с его творчеством. В коротком эссе это практически невыполнимо, но можно попробовать привести представительные примеры. Его роман «Ожидание» начинается со стремительной фразы, которую цитируют практически все рецензенты: «Каждое лето Линь Кон возвращался в Гусиную деревню, чтобы развестись со своей женой Сюю». Каждое лето – в данном случае не гипербола; Линь Кон посещает родную деревню на протяжении 18 лет. Он женат не по своей воле на нелюбимой и необразованной женщине, у которой к тому же, по старинному обычаю, – крошечные ступни в результате бинтования в детстве. Каждый раз жена дает согласие, но на суде меняет свое мнение, и судья берет с незадачливого мужа слово, что он не будет вступать в «ненормальные» отношения со своей предполагаемой невестой, медсестрой Ву Манна. Ненормальные – значит половые.

А вот как автор знакомит нас с многолетней невестой героя:

Когда Ву Манна поступила в училище осенью 1964 года, Линь преподавал курс анатомии. Тогда это была энергичная молодая женщина, играющая в волейбольной команде госпиталя. В отличие от своих однокурсниц, недавних школьниц, она уже прослужила четыре года телефонисткой и была старше большинства из них...

Большинство офицеров искали среди студенток подругу или невесту, хотя эти девушки еще были солдаты, и им не полагалось иметь приятеля. Такой интерес мужчин к студенткам имел тайную причину – причину, которую они редко называли вслух, но про себя все знали: это были «хорошие девушки». Этот оборот речи означал, что они были девственницы, иначе их не взяли бы в армию, поскольку каждая из набора должна была пройти медосмотр, устранявший тех, у кого нарушен гимен.

Такой лапидарный, почти стенографический стиль во многом типичен именно для английской прозы, но в наше время стал редкостью из-за погони за словесными красотами. У Ха Джина он особенно поражает контрастом с экзотикой содержания – кто на Западе слышал, что в армию КНР берут только девственниц?

Невольно закрадывается подозрение, что новизна содержания заставляет критиков занижать формальные стандарты для новоявленного лауреата – недаром его уже не раз сравнивали с Солженицыным, хотя ничего общего между этими писателями нет, разве что оба показывают тоталитарный быт изнутри. К американцам обычно подходят с иными мерками.

Чтобы понять механику ассимиляции писателя в иноязычную литературу, надо проследить двойную эволюцию – темы и стиля. Тематическое давление заметно даже на примере Набокова, единственного из упомянутых писателей, имевшего иноязычное литературное наследство. Не зря действие его самого популярного романа, «Лолита», происходит именно в Америке, да и сам он, судя по всему, считал «Лолиту» своей главной удачей. Но красочный и эклектический стиль, во многом унаследованный от русского творчества, всегда выдает чужака, пришельца – человека без локальной принадлежности в новом мире.

Нелюбимый Набоковым Джозеф Конрад контрастно ему противостоит. Его стиль, сложнейший инструмент психологического анализа, разработан именно по-английски и для нужд этого языка. Что касается конрадовских тем, то они во многом обусловлены его биографией моряка дальнего плавания, но в центре стоит не заморская экзотика, а всегда человек в характерном для англосаксонской ментальности кризисе честолюбия и чести. Знаменательно при этом, что единственный у Конрада роман на восточноевропейском и российском материале,

«Глазами Запада», написан именно с такой точки зрения, западной, и в нем можно найти даже кое-какую «клюкву», неизбежную для этой перспективы.

Ха Джин, как мы уже видели, принес свою тематику с бывшей родины, и американского читателя в ней нередко поражает обилие натуралистического насилия, от которого благоустроенный западный мир отгорожен экраном телевизора. Роман «Ожидание» – о любви мужчины и женщины, но эта любовь протекает в абсурдных и отчужденных обстоятельствах, словно на другой планете. И прозрачность стиля, разработанного от начала до конца на американской почве, усугубляет эту отчужденность до пределов гиперболы, превращает житейскую ситуацию в фантастическую антиутопию.

Чтобы понять, насколько стиль может обмануть автора, окунувшегося в чужой язык во всеоружии прошлого опыта, можно привести небольшой пример из Иосифа Бродского, чья собственная экскурсия в английский язык, при всем совершенстве знания, была не вполне успешной. Судя по всему, его, как когда-то и меня, поразила бескостность современной англоязычной поэзии, ее неорганизованность на русский взгляд, отсутствие не только четкого ритма или рифмы, но даже плотной метафорической ткани. Со временем, когда он стал писать стихи по-английски, он попытался заделать эти пробоины. Вот пример из стихотворения последних лет его жизни «Торнфаллет», который я даже не стану переводить на русский, потому что дело не в смысле и не в словах:

There is a meadow in Sweden
where I lie smitten,
eyes stained with clouds'
white ins and outs.

Эти строчки, с их остроумной рифмовкой, с упакованными фразами и характерным переносом, представляют собой как бы английскую кальку русской поэтики Бродского. Но, к моему немалому удивлению, многие американские читатели, которых я не мог попрекнуть отсутствием вкуса или кругозора, воспринимали эту поэтику как нечто вроде раешника или частушек, явно предпочитая переводы русских стихотворений Бродского – переводы, выполненные, по нынешнему английскому обычаю, прозой.

Секрет столь странного с нашей точки зрения восприятия, а равно и секрет современной англоязычной поэзии, заключен в истории и структуре языка. История эта гораздо длиннее и богаче, чем в случае русского языка, а звуковая организация английского весьма отлична: слова, как правило, короче, рифмы беднее. Традиционные средства ритмической и звуковой организации современному читателю представляются давно исчерпанными, а попытка их воскресить зачастую производит впечатление пошлости. Набоков, посвятивший все свое творчество борьбе с пошлостью, не всегда умел в своих английских книгах удержаться от каламбура, хотя с точки зрения англичанина или американца это – самая низкая и презренная форма юмора.

Мое импровизированное толкование можно принять или отвергнуть, но в последнем случае придется искать новое, потому что его требуют факты. В чужой язык нельзя переселиться с имуществом, которое нажил в прежнем. Надо приходиться практически нагишом, а это – почти непосильная задача для писателя с авторитетом и самоуважением. Вот почему двуязычие Набокова – чуть ли не уникальный случай в известных мне мировых литературах. Стоит, однако, заметить, что, перебравшись в английский язык, к русскому Набоков уже не возвращался. Дар второй речи требует отречения от первой.

В этом смысле творческая биография Ха Джина может послужить образцом. Кристальная простота его английского стиля – в значительной степени вынужденная, ибо ему пришлось начинать с самой первой ступеньки литературной лестницы. В его прошлом нет честолюбия,

которое хотелось бы провезти контрабандой. Как писатель он – уроженец Америки, Китаю он ничего не должен. А мы, русские эмигранты заката советской власти, слишком дорожили своим прошлым духовным имуществом, порой реальным, но часто мнимым. В лучшем случае ничего из прошлого не потеряли, в худшем – проморгали будущее. Я говорю это потому, что считаю литературу искусством, а не патриотическим долгом. Кроме таланта, у писателя нет родины.

Писатель, эмигрировавший в чужую страну, инстинктивно жметя к родному гетто, которое не обязательно должно быть местом компактного проживания, но хотя бы чем-то вроде эмигрантского духовного очага, где его былые заслуги обретут должное почитание. Для безродного моряка Конрада или китайского аспиранта Ха Джина в Массачусетсе вопрос так не стоял: их погружение началось с прыжка в воду.

Думаю, что испытание Ха Джина еще не кончилось. До сих пор его американский стиль служил китайскому содержанию, и на этом странном стыке возникал неповторимый художественный эффект, как если бы Пушкин описывал Камерун своих предков языком «Капитанской дочки». Но прошлому надо сказать «прощай», иначе настоящее так и не наступит. Набоков больше не написал другой такой американской книги, как «Лолита», но к русскому прошлому тоже не вернулся, разве что иронически и иносказательно, в «Бледном огне» или «Аде». «Глазами Запада» Конрада – попросту литературная неудача, он был слишком молод, когда навсегда покинул и Польшу, и Россию. В беседе с уже упомянутым корреспондентом журнала *New York Times Magazine* Ха Джин сам признался, что намерен порвать с тематикой китайского прошлого и обратиться к американской действительности, в которую он погружен уже 14 лет. Когда это случится, мы постигнем его истинную пробу, без скидки на тоталитарную экзотику и мнимое родство с Солженицыным.

По-моему, мне все же не удалось здесь дать руководство желающим стать американскими писателями. Да, наверное, и ни к чему, потому что работа эта – заведомо не из самых доходных. Получится только у того, кто попробует, но пробовать надо без оглядки. Дар второй речи – это как любовь, которая либо наступает, либо остается ожиданием год за годом, даже все восемнадцать, но ей нельзя научиться.

ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА

Каждый, кому приходилось посещать супермаркет или магазин игрушек в компании ребенка, знает, какое это нелегкое испытание. Проблема даже не в том, отказать или уступить, – проблема в том, что уступить приходится немедленно. Никакие ссылки на предстоящий день рождения не помогают. Можно попытаться настоять на хорошем поведении за обедом или четверке по арифметике, но поощрить все равно придется авансом, по известному принципу Остапа Бендера: вечером деньги – утром стулья.

Впрочем, при чем тут дети? Такой «эффект супермаркета» слишком хорошо известен любому взрослому: пожирая глазами приглянувшуюся вещь, напрасно считаешь в уме дни до зарплаты или убеждаешь себя, что проживешь и без этого, – рука неодолимо тянется к бумажнику. А если в бумажнике к тому же завалилась кредитная карточка, то сопротивление уже совершенно бесполезно.

Я, конечно, привел конкретный товар в магазине лишь как простую иллюстрацию. Склонность современного человека к мгновенному удовлетворению потребностей, о которой в последнее время говорят и пишут очень многие, простирается на все области его жизни, от приобретения недвижимости в кредит до добрачного секса. Шокирующие примеры можно почерпнуть из статьи писателя Дэвида Босуорта «Дух капитализма 2000», опубликованной в американском журнале *Public Interest*.

Американская супружеская пара, инженер и его жена-домохозяйка, отбыла в отпуск в Мексику, оставив дома без присмотра двух малолетних дочерей, четырех и девяти лет. Этот факт был обнаружен соседями, родители по возвращении были арестованы, и суд лишил их родительских прав. Поразительнее всего в этом инциденте, что он никак не мотивирован социальным статусом упомянутой супружеской четы – они не принадлежат к обездоленным меньшинствам, их образование и имущественное положение вполне соответствует общепринятому уровню. Этим людям, представителям американского среднего класса, попросту захотелось немедленно отправиться на отдых, и проблема присмотра за детьми была решена самым радикальным образом: никаким.

Другой случай, приводимый Босуортом, не имеет, казалось бы, прямого отношения к «эффекту супермаркета». Лет десять назад некий компьютерный специалист в Калифорнии, будучи неизлечимо болен, подал в суд иск с требованием предписать врачам отрезать ему голову. Это желание было в действительности несколько менее гротескным, чем кажется: человек хотел воспользоваться услугами фирмы по замораживанию неизлечимо больных с целью дождаться гипотетического прогресса и исцелиться в будущем. А поскольку замораживание одной головы стоило гораздо дешевле, чем всего тела, 35 тысяч долларов против 100 тысяч, пациент, будучи компьютерщиком и полагая, что спасать следует только программное обеспечение, то есть мозг, решил сэкономить.

Общность, которую Босуорт усматривает между этими двумя столь различными случаями и которую он считает символичной для нашего времени, – это патологическая атрофия чувства ответственности и достоинства в людях, которым по их социальному и образовательному статусу подобало бы вести себя иначе. Родители, бросившие на неделю без присмотра малолетних детей, повели себя преступно, в то время как желание смертельно больного сохранить себя для вечной жизни трудно назвать даже безнравственным. Тем не менее их объединяет поразительная слепота к фундаментальным фактам жизни, в данном случае к святости родительского долга и непреложности смерти как обязательного завершения жизни. Это поведение вполне сродни капризу ребенка в супермаркете: стремление получить желаемое тут же и тотчас же, независимо от родительского дохода и школьной успеваемости. Это поведение можно коротко охарактеризовать как безответственность.

Тот факт, что подобные модели поведения далеко не единичны, что они в какой-то степени стали социальной парадигмой нашего времени, побуждает автора статьи искать их корни, и находит он их в эволюции капитализма. Название статьи, «Дух капитализма 2000», – явный полемический намек на классический труд немецкого социолога Макса Вебера, «Протестантская этика и дух капитализма».

Согласно Веберу, бурное развитие капиталистических отношений начиная с XVII века обусловлено не мифическим противоречием между производственными силами и отношениями, как считал Маркс, а реальными переменами в этике общественного поведения, вызванными Реформацией и распространением протестантизма. Наиболее ярко эти нравственные характеристики проявились в движении пуритан, английских, шотландских, а затем и французских кальвинистов, первых колонистов в Северной Америке. Их идеология включила усердие, бережливость и предприимчивость в шкалу непосредственно религиозных добродетелей. Результатом стал бурный экономический расцвет в первую очередь таких стран, в которых протестантизм был преобладающим мировоззрением, – Англии, Голландии, скандинавских государств, Соединенных Штатов и Германии.

Однако, поясняет Дэвид Босуорт, капитализм, помимо производства, подразумевает потребление, и вот здесь-то протестантские добродетели постепенно стали давать сбой. Ибо бережливость оправдывает себя лишь в начальной фазе капитализма – чем он развивается, тем важнее становится сфера потребления, без которой производство бессмысленно.

Говоря попросту, два главных направления капиталистической коммерции, производство и сбыт, сейчас требуют двух контрастных стилей идеального поведения – с одной стороны рационального, с другой – импульсивного, и эти стили наводят на мысль о двух контрастных типах личности: холодная и механическая, узко подотчетная Производящая Ипостась... и Потребляющая Ипостась... с ее неумным аппетитом. Консерватор, в поочередных интонациях презрения и тревоги, указывает на опасность сексуальных и эстетических эксцессов либерала, тогда как либерал высмеивает и обличает неумную жадность и потребительское рвение консерватора.

Таким образом, если начальная, пуританская фаза капитализма давала перевес производству, то на нынешней, развитой ступени доминирует потребление. Это капиталистическое потребление, подстегиваемое всевозможными ухищрениями, в первую очередь рекламой, выходит далеко за пределы удовлетворения необходимых потребностей и уж никак не имеет под собой какой-либо религиозно-нравственной подоплеки. На смену пуританскому «отсроченному удовлетворению» пришло удовлетворение немедленное, гедонизм изобилия. Независимо от того, является ли он прямо аморальным, как в случае с нерадивыми родителями, или попросту диким, как иск калифорнийского компьютерщика, он разъедает нравственные устои общества, делает его безответственным и инфантильным.

Неспособность этого поколения (моего собственного) созреть до подобающей взрослым ответственности, в особенности до родительской ответственности, представляет собой яркое доказательство как идеологической мощи, так и социальной разрушительности нынешнего экономического порядка. Эта неспособность является также признаком того, что неустойчивое, но необходимое равновесие между научным капитализмом и иудеохристианством ныне утрачено, что первый поглотил, кооптировал и в значительной степени превзошел второе, приведя к нынешнему ущербу и грядущей моральной угрозе.

Подобная критика потребительского общества, как указывает Босуорт, все чаще раздается как справа, так и слева. От этой идеологически мотивированной критики он дистанцируется, полагая, что мы имеем дело с глубоким системным кризисом капитализма, пытаться разрешить который можно только общими силами, без скидки на свой политический лагерь.

В доказательство того, что неумное потребление – всего лишь симптом, а не диагноз, автор статьи в журнале *Public Interest* приводит гипотетическое описание семьи, которая в условиях современного общества пытается вести себя ответственно и дать детям настолько нравственное воспитание и всестороннее образование, насколько это под силу представителям среднего класса. Они помещают их в лучшие школы, используют новейшие гуманные методы, участвуют в гражданских движениях за улучшение системы образования и выделяют максимум времени для общения с детьми, что совсем не так легко для работающих родителей. Парадоксальным образом, чем больше они тратят усилий, тем крепче прилипают к вездесущей потребительской паутине. Практически вся их активность связана с тратами и приобретением товара, хотя речь идет не столько о вещах, сколько об услугах специалистов. Они в гораздо меньшей степени принимают решения, чем покупают их: лучшие школы и педагоги требуют дополнительных затрат, участие в гражданских движениях базируется на информации, которая в современных условиях тоже является товаром, и так далее. Чем острее протестуешь против потребительской структуры общества, тем сильнее в ней увязает.

Современный капитализм в развитых странах поднял благосостояние граждан на уровень, который был невыносим даже для самых привилегированных сословий недавнего прошлого. Как и подобает капитализму, он взимает за это плату, и кое-кому, в том числе Дэвиду Босуорту, эта плата начинает казаться чрезмерной.

Босуорт вспоминает героя романа Диккенса «Большие надежды», клерка Уэммика, который на службе сух и неприступен, типичный капиталистический робот, но оттаивает в собственном доме, где становится теплым, участливым и симпатичным человеком. Дом для Уэммика становится чем-то вроде крепости, где меркантильная реальность и социальные функции теряют свою силу.

Но с тех пор как информация стала частью коммерции, уловки Уэммика уже не помогают. От потребительской пропаганды больше не отгородиться ни воротами, ни рвами – в век телефона, телевидения и Интернета человек сросся со своей социальной функцией. Все его усилия по-прежнему тратятся на расширение собственной свободы, но когда он изредка поднимает глаза, то видит лишь прутья клетки, в которой оказался и которую его самые судорожные усилия лишь делают прочнее. Он стал ребенком в супермаркете, где яркие краски и звуки подавляют его собственную детскую волю и навязывают волю системы.

Этот образ клетки как символ развитого капитализма Босуорт позаимствовал все у того же Макса Вебера. Вот что пишет Вебер в заключение своей книги:

Никому не известно, кто будет жить в этой клетке в будущем и не восстанут ли в конце этой гигантской эволюции новые пророки, не последует ли великое возрождение старых идей и идеалов или, если уж не то и не другое, не воцарится ли механическое окаменение, приукрашенное некоей спазматической самонадеянностью. Ибо об этой последней стадии такой культурной эволюции можно поистине сказать: специалисты без духа, сенсуалисты без сердца – это ничтожество воображает, что достигло небывалого доселе уровня цивилизации.

Говоря об этой грядущей клетке, Вебер имел в виду растущую специализацию труда, взаимозависимость социальных функций и исполняющих их людей, которым все труднее обособиться от сковавшей их структуры. Сам он еще не мог, а Дэвид Босуорт почему-то не догадался дать этой структуре четкое определение: речь идет о технологии. Технология с самого начала

была неразрывно связана с капитализмом, но теперь, когда ее главным предметом стала информация, она полностью срослась с общественным устройством. В конечном счете, специализация труда и расщепление ответственности – это тоже технология, способ организации информации. И уже восстали пророки, обличители технологического общества, о которых говорил Вебер. И восстанут новые.

Босуорту вполне простительно не вспомнить французского политолога и протестантского богослова Жака Эллюля, который умер всего лет шесть назад. Пик его славы давно позади – его главный труд, «Технология: ставка в игре столетия», вышел в 1954 году и в какой-то степени стал теоретическим истоком и подоплекой американского, а затем и всемирного движения хиппи. По мнению Эллюля, технология настолько глубоко проникла в поры современного общества, что уже нет смысла говорить о природной среде обитания, ибо мы давно обитаем в технологической среде. Эта среда – искусственна и автономна, она не преследует никакой предначертанной цели и утверждает приоритет средств над целью. Люди, живущие в таком обществе, обезличиваются и отождествляются со своей социальной функцией. По мнению Эллюля, наше общество, благодаря нашим технологическим достижениям, – самое несвободное из всех, когда-либо существовавших на земле, независимо от ценностей, провозглашенных нашими конституциями.

На первый взгляд в этом обличении можно усмотреть сходство с теорией «отчуждения» молодого Маркса. Согласно этой теории, пролетарии, не имеющие доли в средствах производства, отчуждены от своего труда, обезличены, превращены в бессловесные орудия. Маркс, однако, полагал, что этот конфликт будет снят переходом средств производства в общественную собственность. Подобно большинству мыслителей XIX века, Маркс был беззаветным энтузиастом технологии и в конечном счете, неведомо для самого себя, пособником ненавистного капитализма. Ибо технология, сливаясь с капитализмом, вбирает в себя его фундаментальные требования: свобода собственности и свобода информации – в конечном счете свобода собственности на информацию. Встроенный парадокс капитализма, секрет его неуязвимости заключается в том, что любой бунт против него, принимающий хотя бы одно из его условий, не просто обречен на поражение, а даже способствует его триумфу. С такой точки зрения грядущий крах СССР был обусловлен уже самой сталинской политикой индустриализации. Это и есть эффект «кооптации», подмеченный Босуортом: капитализм, обогащенный прозрениями Маркса, становится еще непобедимей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.